



МИХАИЛ БЛЕХМАН

ОТРАЖЕНИЕ

Михаил Блехман

Отражение

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Блехман М.

Отражение / М. Блехман — «Мультимедийное издательство
Стрельбицкого»,

Первый из романов дилогии о главных вопросах в жизни человека: счастье и любви, вере и познании. Этот роман - о семье Блехманов, действие происходит в 30-40 гг XX века в Украине, в Харькове, и - параллельно - в XIX веке - в еврейском местечке Речица в Белоруссии. "Есть ли счастье?" - Задается вопросом героиня романа Клара. Роман доказывает, что, несмотря на все проблемы, счастье - возможно.

© Блехман М.
© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

I	7
II	9
III	10
IV	12
V	13
VI	14
VII	15
VIII	16
IX	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Михаил Блехман

Отражение

Тем, кого дай мне Бог быть достойным.

Моё прошлое не выдумка.

Оно – настоящее.

Категория «отражение» означает субъективную способность человека как мыслителя оперировать мыслями как фактами сознания, независимо от объектов, которые они отражают.

Из философской книги

Звёздочек падало так много, что у меня закончились желания. Кто-то сдунул их со своей огромной холодной ладони, и они послушно полетели вниз, укладываясь в сонные сахарные сугробы или оставаясь на стекле моего окна смешными и сложными символами диковинной азбуки. Как будто тот самый некто поздравил ими город, отпраздновавший Рождество, и захотел отразиться в оконном стекле, заглянуть в мою тетрадь и прочитать заключительные строчки только что законченного романа.

«Кто решил, что он идёт?» – размышлял я, стараясь не упустить главного смысла этих знаков и догадываясь о том, что, возможно, они и мой роман – это взаимное отражение или воплощение двух разных азбук одного и того же языка.

«Разве так идут? – снисходительно спросил я, скорее всего, самого себя. – Разве так ходят?... Так – нисходят. Так снизошла бы холодная женщина, так снизошел бы хладнокровный неприятель, так позволил бы – больше мне, чем себе – снизойти прохладный критик... А идут и ходят – разве так?»

«Но если бы не моя тетрадь – неужели был бы у вас – смысл?»

«Впрочем, что же я вам толкую о смысле? Там, откуда вы снизошли, об этом, я очень надеюсь, знают больше но, боюсь, – совсем иначе...»

«Тогда зачем и для кого эта моя азбука, если уже есть ваша? И вы снисходите всегда – вне меня и несмотря на меня...»

«... И будете снисходить на город, отпраздновавший Рождество и готовящийся к Новому году, – к новому году...»

«... Не замечая, что по эту сторону окна в новом году – кто-то совсем другой, не тот, кто был в прошлом, и не спрашивая: а где же тот?»

Могу ли я в моей тетради сказать что-то, что было бы незнакомо вам? Что-то такое, чего вы ещё не видели, к чему не прикасались?

Я вздохнул, постучал пальцами по обложке тетради, на которой до сих пор не было названия моего романа, раскрыл тетрадь наобум, на одной из римских цифр, снова взглянул в окно.

«Впрочем, вы ведь здесь, хотя и по ту сторону окна, ведь для вас оно не существует, – пусть же не существует и для меня, тогда вы сможете перевести на свой потусторонний – или на наш общий? – язык содержимое моей тетради...»

«... И мы с вами найдём для моего романа нужное название».

А раз уж вы всё-таки пришли ко мне, значит, ходят и так, и не слишком уж вы снисходительны – если только между нами не представлять себе окно...»

«Ну, вот, а я не верил».

Книги смотрели на меня из своего шкафа, заглядывали в мою пока ещё безымянную тетрадь, исписанную мало что передающими словами и почти бессмысленными римскими цифрами.

Книги смотрели из шкафа: разгаданная – не мною, но для меня – старая книга в перламутровом переплёте; и эти – мои любимые – они не помогают мне, но – самое главное – не мешают; и эта – она... я ещё не полностью понял её роль, но к концу моей тетради надеюсь понять – должен... Иначе писать мою тетрадь было бы рискованным делом, и кто знает, оправданным ли?...

Впрочем, разве я написал её? Я смотрел мимо моей тетради и думал, что, конечно, она уже была, и есть, и мне нужно было только найти её, вот я и отправился на поиски неизвестно чего – как средневековый капитан на поиски старой земли, которая, если повезёт и постараться, окажется новой.

Наверно, я удачливей и счастливей многих своих коллег-капитанов, потому что – нашёл, и вот теперь моей тетради не хватает только названия, чтобы стать книгой – со здоровой порцией самоуверенности подумал я. Конечно, можно оставить как есть: если, скажем, возможна, поэма без героя, то почему же не может быть романа без названия?

Нет-нет, лучше я всё-таки назову мою тетрадь. Я обязательно назову её, они мне в этом помогут, я ведь уже убрал разделявшее нас окно. Иначе – как же прохладная женщина, хладнокровный неприятель, холодный критик решат для себя и всего прочего мира, что моя тетрадь не заслуживает прочтения? Если у автора есть имя, а у его тетради – название, то легко сказать, что всего остального знать не стоит. А если имени или названия нет, то придётся прочитать и, только прочитав, сказать всему миру, что читать не стоит.

Разумеется, иногда начало бывает так похоже на название, что заменяет его... Но моему роману название необходимо – потому, что начало не только не заменяет и не предсказывает его, а совсем наоборот.

I

В начале – город готовился к новому году, и только потом, отпраздновав Новый год, начнёт готовиться к Рождеству. Но вместо желаний, которые сами собой загадывались бы в такт снисходившим на город звёздочкам, она думала о том, что желаний, по правде говоря, давно уже не осталось. И если бы вместо традиционной мрачной мряки на город вдруг снизошли вышедшие из моды снежные звёздочки, загадывать было бы нечего.

«Любопытно, – подумала она, поднимаясь в троллейбус и машинально проверяя никуда не девшуюся сумочку, – любопытно, как умело природа помогает тем, кому нечего загадывать. Было бы что загадать – звёздочки не заставили бы себя ждать».

В троллейбусе, к счастью, было почти пусто, и её место было свободно – и у окна, и рядом. «А ведь всё-таки было желание! – улыбнулась она, как обычно, прижимаясь к защитившему её от улицы окну и уже спокойнее глядя на здание и забор больницы, остающиеся за закрывшимися дверями и закрытым окном троллейбуса. – Желание было, я его помню». Она открыла книгу, неотличимо похожую на мою тетрадь, но, мне показалось, уже с названием. Она везде возила её и читала, периодически, не отрываясь от чтения, глядя в окно, на нереально ватные сугробы, как будто только что сброшенные с огромной ёлки, на фоне которых блекли окоченевшие фонари цвета ещё не приготовленного гоголя-моголя.

«Или гоголь-моголь?» – строго спросила она у самой себя, но не успела ответить, потому что увидела мужа и жену, медленно переступая, идущих к больнице. У Самуила лицо было такого же цвета, как эти неестественные сугробы: Клара стонала, пытаясь согнуться в три погибели, но девятимесячный живот мешал ей, и это сейчас была её и его одна-единственная погибель.

– Дай отдохнуть! – стонала она, усаживаясь в очередной сугроб.

– Кларонька, – поднимал её Самуил, – ты простудишься, пойдём, тут уже совсем рядом.

Им удавалось подняться и пройти ещё несколько шагов, и она снова садилась в сугроб перевести дух, но дух совершенно не переводился. Схватки у Клары начались, как назло, когда уже была глухая ночь и не то что такси, а даже частника не было на всём безнадежно белом для такого тёмного времени суток свете, и в роддом пришлось брести пешком.

Они шли уже больше часа, останавливаясь, присаживаясь, поднимаясь. Вокруг было раздражающе светло от снега, но в глазах у Клары потемнело ещё дома, когда она пыталась одеться, а поясница разламывалась, словно зачерствевший бублик, и ни идти, ни сидеть было невозможно. Шуба согревала, но тянула в сугроб, и единственное чего ей хотелось – это родить уже наконец и выспаться, не думая о том, что ещё предстоит рожать. Пальцы в муфте вспотели, набрякли и перестали сжиматься и разжиматься. Платок съехал набекрень, на лбу впервые появились морщинки, которых она испугалась бы, если бы сейчас посмотрелась в зеркало. Но сил не оставалось даже на то, чтобы испугаться, примерно как когда она давным-давно тонула в Днепре...

– Господи, когда же я, наконец, рожу?! – простонала я, сжимая Сенину руку и садясь в соблазнительно тёплый сугроб. – Бедные женщины, за что им это?!.. Ой, Господи, если бы им, а то ведь нам...

Он, чуть не плача и целуя мои руки через муфту, снова принялся поднимать меня из сугроба, приговаривая:

– Кларонька, пойдём, тут уже рядом. Сейчас придём, тебе помогут раздеться, снимут с тебя эту чёртову шубу...

... и всё остальное! – с ненавистью сказала я, не пытаясь подняться, потому что пытка была выше моих сил, и сил на то, чтобы пытаться, не было никаких.

– Ну конечно, всё снимут, как полагается, ты и забудешь, что на тебе всё это было. Дадут лекарство, уложат на удобный стол, ты немножко постарайся, – и родишь нам сына или дочку.

– Сына! – уверенно рявкнула я, вставая, сама не знаю, как.

– Сына! – сказала она мне шёпотом, но твёрдо.

– Сына! – донеслось в троллейбус через закрытое окно.

И Клара пошла – именно пошла, а не поплелась – рожать сына.

То есть пошли они вместе – как всегда.

II

Сейчас Клара временно не помнила – о чём вообще сейчас можно было помнить? – что старалась, то есть мечтала, дотянуть до после Нового года. По разным причинам, но главное – чтобы сыну на год позже было идти в армию. Да и вообще, считаться, что родился на год позже, всегда лучше, чем на год раньше, – разумеется, только считаться.

– А вдруг будет девочка? – с почти незаметным сарказмом спросила – или сказала – Мария Исааковна.

– Мама, такие вещи вдруг не происходят, – успокаивающе ответила Клара, садясь изучать Римское право. Профессор Фукс читал свой предмет не хуже народного артиста, не говоря уже о римском трибуне. На его лекции собиралось столько студентов, что в бездонной аудитории яблоко скорее сгнило бы на своей ветке, чем посмело упасть, – и сдать Фуксу выпускной экзамен, тем более в таком положении, было ненамного проще, чем завоевать Римскую империю. Но Клара в себе не сомневалась, и Самуил тоже. И Владимир Фёдорович не сомневался, хотя, когда говорила Мария Исааковна, он больше молчал и иногда улыбался, но улыбался он не скептически, а согласно.

– Володя, чему ты улыбаешься? – голосом императрицы, временно сошедшей с престола, спросила Мария Исааковна. – Нет, он меня когда-нибудь сведёт с ума! Решается серьёзный вопрос, а он сидит себе как ни в чём не бывало и улыбается. Володя, сейчас же прекрати улыбаться! Я кому сказала?

– Так что ж мне, плакать? – искренне, улыбнулся Владимир Фёдорович и развёл руками.

Как же не улыбаться, если войны, слава Богу, нет уже целых шесть с половиной лет, квартира у них хоть и не изолированная, но не хибара какая-нибудь в эвакуации на Урале, все живы и здоровы, карточки отменили, Самуил заканчивает мединститут, Клара – юридический. У меня скоро будет внук, или внучка, особой разницы нет, но Клара уверена, что будет внук. Так что же – при этом всём плакать?

– Мама, – не отрываясь от написанного мягким почерком с наклоном влево конспекта, заметила Клара, – вопрос совсем даже не решается – потому что давным-давно решён. Я припоминаю приблизительную дату решения, и даже время суток, хотя точную, ввиду торжественности момента и важности задачи, назвать не рискую.

Несмотря на то, что она не уточнила, какой момент имеет в виду, реплика произвела впечатление. Полностью довольным остался только Самуил, располагавший всей совокупностью фактов, чтобы восхититься точностью формулировки, свойственной супруге. Владимир Фёдорович снова улыбнулся, а Мария Исааковна вспыхнула тихой молнией – в ответ на реплику Клары, улыбку Владимира Фёдоровича и довольную задумчивость Самуила.

III

До войны Клара жила вместе с Марией Исааковной и Владимиром Фёдоровичем в очень привилегированной трёхкомнатной квартире, естественно, изолированной, в самом, наверно, уютном районе Харькова – Нагорном, на Пушкинском въезде. Мария Исааковна работала инженером-строителем, руководила важнейшими проектами и спроектировала огромные электростанции – на Севане, на Балхаше, да что там, по всему Союзу.

Родилась Мария в Белоруссии, в еврейском местечке Речица, на Днепре.

Она была Мэри, а не Марией, но Мэри может быть только княжна, а какая княжна из Речицы? Её папа, Исаак, был лучшим краснодеревщиком во всей губернии, а мама, Клара, считалась неграмотной, и у неё было восемь детей. Грамоты она действительно не знала, но неграмотной не была, просто когда же выучишься, если муж с утра до вечера в мастерской, и восемь детей на руках?

Впрочем, знала она больше многих грамотных. К ней приходили за советом со всего местечка, как к Санчо Пансе на острове, и советы она всегда давала правильные – ни разу за всю жизнь плохо не посоветовала.

Из восьми детей было две девочки, Мэри и Хая, остальные – мальчики, они, когда выросли, стали социал-демократами и погибли – одни поэтому, другие позже, на войне, – не поэтому, а просто погибли.

Один из братьев оказался математиком. Он доказал недоказуемую теорему или, точнее сказать, в силу нелюбимого многими национального духа противоречия, опроверг аксиому. То есть это была не аксиома, потому что аксиому опровергнуть невозможно, но Арон не был согласен с тем, что это – аксиома, и потому опроверг её. Умеющая ценить незаурядное Петербургская императорская академия наук наградила его серебряной медалью, только Арону пришлось сменить ненаучное имя Арон на приемлемое Аркадий. А фамилия – Крупецкий – звучала почти как Оболенский или даже – если абстрагироваться от отягчающих частных, – почти как какой-нибудь Голицынский.

Старшие в семье были постоянно заняты, так что Мэри научилась всему учиться самостоятельно. Когда Мэри была маленькой, она пошла на разлившийся за горизонт Днепр, который только неопытному или чересчур романтично настроенному наблюдателю может показаться чудным при тихой погоде. На самом-то деле даже у самого берега было полно ям и бурунов, не говоря уже о середине, едва видневшейся с высоты четырёхлетних глаз.

Но Мэри никто не научил тому, что должно быть страшно, да и вообще её никто ничему, кроме чтения и письма, не научил, а на речке это не пригодилось. И она вошла в воду так же, как в папину мастерскую разглядывать новый шкаф и праздничные стулья, или в мамину кухню – понюхать и попробовать кнедлах, латкес или фаршированную рыбу. Как можно утонуть, она тоже не знала, потому что не знала, что можно утонуть. Поэтому Мэри просто выплыла и поплыла, и ей это понравилось. Потом она – тоже сама – научилась переплывать Днепр, гулять по диковинному противоположному берегу, оказавшемуся вполне обычным, то есть таким же прекрасным, как и родной, и возвращаться домой к обеду.

Клара, как потом выяснилось, пошла по проторенному пути. Однажды, когда они гостили в Речице, она тоже решила сходить на Днепр, посмотреть, что там к чему, и искупаться. Ей было целых шесть лет, но она ещё не знала, что для того, чтобы плыть, нужно уметь плавать, – просто взяла и убежала на Днепр, тем более что до пляжа подать было даже её маленькой рукой. Никто и не заметил ничего – ну, вышел ребёнок за калитку, что тут такого, в Речице? Ни погромов уже, ни войны ещё и уже, ни даже заурядного грома с молнией. Клара бежала себе, радуясь жизни, как потом из школы домой, напевала «Смело мы в бой пойдём» и с разбегу влетела в воду, казавшуюся с берега безобидной, как свежий суп в старенькой, ещё бабушки-

ной, миске. Это было жутко смешно и весело, но дно вдруг провалилось в бездонную подводную яму и увлекло Клару за собой.

Несколько раз ей удалось вынырнуть, но каждый раз выныривалось всё труднее и хуже. В конце концов, сил выныривать не осталось, и она решила больше не стараться, всё равно ведь бесполезно. И тут я представила себе, как огорчится мама, когда узнает, что я утонула, и решила ради неё ещё раз вынырнуть, в самый последний раз.

В это самое мгновение её заметил моряк, молодой соседский парень, только что спустившийся к Днепру искупаться. Не раздеваясь, он сиганул в воду, вытащил мужественного ребёнка и отнёс Марии. Мама всё-таки расстроилась, но если бы я утонула, представляю, как бы она тогда огорчилась! Значит, всегда нужно пробовать вынырнуть ещё раз – а может, кто-то как раз будет проходить мимо и поможет.

IV

Мэри была прекрасна: с густыми, разумеется, тёмными, волосами, огромными глазами немного навывкате и чуть брезгливой улыбкой.

В шестнадцать лет Мэри вышла замуж за Зиновия Стольберга, очень энергичного, незаурядного и предприимчивого молодого человека, а через три года, в последний из 20-х годов, родила Клару и бросила мужа, потому что тот раздражал её своим мнением. Собственно, не мнением как таковым – она Зиновия не слушала, – а наличием у него того, что он имел смелость считать мнением.

Вообще-то Зиновий был Зиновием в той же степени, что Арон – Аркадием. Официально его звали Залманом, поэтому формально Клара была не Клариссой Зиновьевной, а Кларой Залмановной. Зиновий хотел, правда, назвать дочку Еленой, но наличие мнения сослужило ему не лучшую службу, да и вышло всё равно так, как считала верным Мария: мальчика нужно называть в честь дедушки, а девочку – в честь бабушки.

После развода, до войны, Зиновий иногда виделся с Кларой, и было это совсем для неё нечасто – так нечасто, что почти и не было...

В Харькове – первой украинской столице – Мария училась в строительном институте и была там лучшей студенткой: если в четыре года человек выплывет в Днепре, то в двадцать он тем более не утонет на суше, какой бы неровной эта суша ни была.

Спорить с нею было невозможно, точнее, бесполезно, потому что логика и форма аргументации у неё были даже не железные, а из какого-то ещё не изобретённого тугоплавкого металла, и студенты, в основном фронтовики, недавно переодевшиеся из будёновок в кепки, банально говорили, что у неё мужской ум. Но она была женщиной. С косой вокруг головы, с огромными глазами, и с умением переплыть через любую реку, как бы трудно ни было всяким хваленным редким птицам долететь до середины.

Каждое утро Мария шла с Пушкинского въезда на Сумскую, улыбаясь порхающей золотистой махине Дома проектов, и ярко-серому небоскрёбу Госпрома, и строящемуся зданию Правительства на бескрайней, как вся её страна, и бесконечной, как вся её жизнь, площади Дзержинского. Жизнь только-только начиналась, и рядом ещё не было лучшего в мире памятника Тарасу Шевченко, и не было даже Зеркальной струи, которая – она ещё не знала – будет похожа на её шифоновый шарфик. Каблуки послушно стучали по послушной брусчатке и робкому асфальту, в портфеле были выполненные – лучше, чем кем бы то ни было на всём потоке – домашние задания, в тубе – лучшие во всём институте чертежи. Бесконечная в своей величественности Сумская проплывала мимо неё и плыла дальше, вниз, мимо царских зданий, дома Саламандры, громадного банка, Пушкинского скверика, нарядного украинского театра, впадала в Николаевскую площадь, на которой Марии подмигивали своими сияющими окнами здания, спроектированные ещё до Революции великим академиком Бекетовым, а ещё дальше возвышалось спокойно-серое, без глупых излишеств, здание, построенное совсем недавно, в 1925 году.

По выходным Мария сворачивала с Николаевской площади на горделивую Пушкинскую, гуляла там, где ещё не было и, казалось, не могло быть рельсов и трамваев. Она шла мимо церквей, делающих Пушкинскую похожей на купчиху первой гильдии. Мимо зданий архитектора Бекетова, напоминающих новогоднюю гирлянду или октябрьский фейерверк и поднимающих Пушкинскую до вполне заслуженного ею уровня столбовой дворянки. Она шла на свой, невозможный без неё, Пушкинский въезд – готовиться к лекциям, читать, чертить, считать на логарифмической линейке.

И, выйдя с Кларой на балкон, смотреть туда, откуда главным счастьем свалилась на них бесконечная жизнь.

V

В Марию влюблялись массово и наповал, но ей это было не слишком интересно, потому что каждый влюбившийся имел неосторожность или наглость иметь хотя бы в чём-то собственное мнение – очевидно, утверждая тем самым свою мужскую сущность. Марии же с избытком хватало собственной сущности, женской. Она только Владимиру Петкевичу позволила выслушивать и принимать к сведению и неукоснительному исполнению её мнение, и это её интересовало в нём. Он был старше, но она так не думала. Да и что за разница – шесть лет?

Владимир родился в Варшаве, когда Польша была частью Российской империи. Он работал клерком: инспектировал мясокомбинаты и овощные базы, ведал отчётностью во Вторчермете, потом работал в Управлении Южной железной дороги, в мощном старом здании на огромной харьковской Привокзальной площади. Начальство восхищалось его надёжностью и пунктуальностью. Он всегда знал, где найти нужную из множества бумаг, потому что ничего никогда не искал: все документы, написанные мягким прямым почерком без малейшей помарки (Владимир Петкевич и помарки?), не искались, а находились в единственном – нужном – месте в нужное, да и вообще в любое, время.

В юности Владимир увлекался такими же юными, как он, балеринами, а в зрелости влюбился в Мэри, то есть, точнее сказать – Мэри он полюбил.

Она разрешила ему испытать к себе это чувство, только когда убедилась в том, что он не собирается ни в чём ей возражать. А он и не думал возражать – он любил Марию и Клару сильнее, чем люди обычно любят других людей.

Ещё он любил футбол, только не играть – играть он не умел и не любил, – а смотреть. Когда Владимиру было двадцать лет, сборная Харькова выиграла первенство страны, и он собственными глазами видел Привалова, Кротова, Норова, Казакова, братьев Фоминых.

– В 21-м году в Одессе, – с улыбкой рассказывал он Кларе, – Казаков попал в перекладину, и она рухнула на голову одесскому вратарю. Представляешь?

Мария даже не пожала плечами, только возмутилась, чему он учит ребёнка, а Кларе захотелось увидеть, как падает перекладина, и она увлеклась футболом. Владимир же Фёдорович, наоборот, к футболу немного охладел, потому что после Привалова так в футбол уже никто не играет.

Владимир не умел плавать и служил в армии на баркасе рулевым, ведь с его комплекцией грести бессмысленно, а рулевым – в самый раз, и кроме него никто бы толком не справился. Он сидел на носу, громко и чётко отсчитывая:

– Раз-два, раз-два!

Я отсчитывал, чтобы гребцы не сбились с темпа, и они гребли. Однажды, под Форосом, это недалеко от Севастополя, наш баркас попал в мёртвую зыбь. Знаешь, что такое мёртвая зыбь? Это когда на поверхности вода как стекло, а под ней – отчаянные буруны, как будто кто-то взбалтывает воду. Мёртвая зыбь, ну её к аллаху, лодку не перевернёт, но человек может уснуть. Я считал, считал, а потом как будто провалился куда-то, и если бы матросы не сбились с ритма и не обернулись, меня бы уже на свете не было. А они сбились, потому что я уснул и перестал считать. Только благодаря им и спасся – иначе уже не проснулся бы никогда.

Рассказ Кларе понравился: он был ещё страшнее, чем штанга, падающая на голову вратарю.

После окончания института Мария бывала дома реже, чем в командировках, поэтому воспитывал Клару Владимир Фёдорович. Точнее, он не мешал Кларе расти и воспитываться, охраняя этот процесс.

VI

В садике Клара была главной после воспитателей, хотя почему так получилось, она не знала и не задумывалась над этим. Просто все уважали её мнение – возможно, потому, что ни у кого, кроме Клары, своего мнения не было, только у воспитателей. Она руководила всеми играми – в квача, в жмурки, во что угодно, и никогда не была последней курицей, которая жмурится, а жмурилась только тогда, когда ей этого хотелось, а не когда ей это почему-то выпадало (чтобы Стольберг – и вдруг выпало?).

Дома тоже было хорошо, – даже больше, чем тоже. Клара прибегала домой из садика, потом из школы – как оказалось, привилегированной, на их привилегированный, как тоже оказалось, Пушкинский въезд, в их потрясающую квартиру, где поначалу, до появления Владимира Фёдоровича, было пустынно – райское изобилие продуктов, даже всякая икра, – но не было мамы. Мама была в командировке – в Средней Азии, на Кавказе, в Сибири, на Байкале, в Крыму, на озере Балхаш, на урановых рудниках. Мария Исааковна летала с места на место в небольшом, особом самолёте. Она была инженером-конструктором высшего класса, но конфликтов с теми, кто присылал за ней самолёт, у неё ни разу не возникло: я никогда не позволяла себе лишнего и никому ничего не рассказывала, в том числе об урановых рудниках.

Дома у Клары были бесконечные, но совсем даже не нелюбимые домашние задания, и ещё марки и монеты, и белый рояль. И ещё сотни или тысячи книг, которые легче перечитать, чем пересчитать. Читать Клара научилась так же, как Мария – плавать, и почти одновременно с нею, только не в четыре года, а в три. Поэтому дома всё равно было интереснее, чем на улице. Везде, кроме дома, она чувствовала, как ей не хватает родителей, а дома она этого почти не чувствовала, дома было ощущение восемнадцатого века, в котором не довелось родиться, белый рояль, марки с неприступной Викторией и с Георгями, не похожими ни на Викторию, ни друг на друга, серебряные петровские и николаевские рубли.

Потом появился Владимир Фёдорович, и стало лучше. Он улыбался, всегда поддерживал, никогда не раздражался и тем более не злился (Владимир Фёдорович и раздражение?) и в чём мог помогал, в том числе – собирать монеты и в особенности марки, хотя увлечения всеми этими бесполезными королями и королевами я никогда не понимал, наши марки гораздо полезней и интересней. Ну, да какой с ребёнка спрос.

Он водил Клару в Сад Шевченко, во Дворец пионеров на ёлку и на все возможные праздники. Во Дворце пионеров её однажды сфотографировали с подарком, она сидела на коленях у самого Постышева, и Мария Исааковна очень гордилась этой фотографией. А Владимир Фёдорович просто улыбался, ничего не говоря, но думая про себя, что ещё неизвестно, кому следовало гордиться, и снова водил Клару повсюду – в прекрасный парк Горького и бескрайний Лесопарк, по теряющей с каждым годом старую закалку Пушкинской, по звякающей трамвайными звонками и стучащей на рельсовых стыках Бассейной, по задумчивой Чернышевской.

VII

Роза была родом из местечка под Мариуполем, его – Мариуполь – потом переименовали в Жданов. А Семён был из Латвии, из Либавы, и Самуил знал несколько фраз по-латышски. На либавском рынке всегда отвечали, если обратишься на идиш и тем более на латвийском, и идиш очень даже уважали. А если на русском – могли не ответить.

Родные братья Семёна сразу после Революции поехали в Уругвай, хорошо там устроились, открыли каждый своё дело. Один Моисей на пару недель вернулся в Либаву проведать тещу, и тут же началась война. Он там и погиб, под Либавой, в ополчении. Зато Абрам открыл в Монтевидео мясную лавку, поставил детей на ноги. А потом к власти пришли фашисты, они к бизнесу и к евреям относились не очень хорошо, если не сказать скверно, поэтому пришлось переехать в Израиль.

Назвали Самуила Самуилом в честь дедушки, маминого папы. Дома его называли «Муля», но во дворе никто не смеялся, потому что, во-первых, попробовали бы посмеяться, а во-вторых, во дворе его называли как своего – Сеней или Сёмой. Да они и были все своими, чужих среди них не было, откуда взяться чужим?

Самуилу никто никогда не помогал, он любил и учился справляться сам, хотя получалось это с переменным успехом. Очень хотелось стать врачом, но какие врачи, когда мешки тягать некому? Интересно, если бы не он, кто бы тогда тягал?

В Ворошиловграде было здорово, даже речка была, Луганка, правда, в ней особо не поплаваешь, но лучше же, чем когда вообще нет реки. Ещё в Ворошиловграде был дом-музей Ворошилова, про него – про Ворошилова – им в школе много рассказывали.

Вообще, в школе было интересно, и учился он здорово, лучше почти всех, вот только иногда, когда проходили скучный материал, хотелось взять и заорать, чтобы все оглохли, – «А-а-а-а!!!!», и как ему удавалось сдержаться, наверно, одному Богу известно.

В начальных классах, да и в пятом, учителя, бывало, заставляли зарисовывать в учебниках портреты великих людей, это было классно, к шестому классу мало кто остался.

Летом вместе с Гришкой, лучшим другом Самуила, ходили на Луганку или мотались на велике. Вызывали друг друга из дому условным свистом – «чижином-пыжиком». Вообще, свистел Самуил лучше всех – и на красоту, и «колечком», и двумя пальцами, и тремя, и одним – мизинцем.

Они гоняли по улицам, дворам, проезжим и непроезжим частям, да так, что куры взмывали ястребами, лошади икали вместо того, чтобы ржать, искры не только летели, но даже клубились, а прохожие ругались словами вроде «шпана» и ещё более бессмысленными и несправедливыми.

Однажды Гришка рулил хладнокровно, как всегда, но на чкаловской скорости наехал вдруг на какой-то дурацкий камушек и полетел через руль, а Самуил слетел с багажника и проехал носом между истерическими гусями и полудохлой от избыточного веса свиньей. Было больно и досадно, что сломали велик, а народ валит валом и пялится хоть бы хны, но всё прошло, как любая боль и любая досада, а вот нос остался навсегда чуть кривоватым, хотя, правда, это не так уж было заметно. Да и почти незаметно, чего там.

И ещё здорово было, когда снег валом валит, словно народ на футбол, а ты несёшься как угорелый на лыжах, орёшь «А-а-а-а!!!!», и сейчас это можно, сейчас тебе всё можно, никто и слова не скажет. Да и некому сказать, все по домам сидят, кроме них с Гришкой. В такой вечер дома сидеть – не придумаешь, что может быть глупее.

VIII

Владимир Фёдорович и Клара шли в зоопарк.

Их вела губернская Сумская – мимо детского садика и необъятной площади Дзержинского, мимо горделиво глядящего поверх всех голов здания военной академии, мимо пытающегося взлететь над площадью светло-жёлтого, словно ещё не успевшее как следует проснуться солнце, Дома проектов, где работала Мария, мимо пасмурно торжественного Госпрома, потом Дворца пионеров и памятника Шевченко.

Владимир Фёдорович крепко-накрепко держал Кларину руку, потому что если Клару не удержать, попробуй уследи за ней и догони. На нём был летний белый костюм, а на голове, конечно, соломенная шляпа. Они шли не спеша, и Клара рассказывала о сенсационном открытии, сделанном ею сегодня перед гулянием: о том, что российский царь Николай, которого Владимир Фёдорович называл Николашкой, как две капли воды похож на британского короля – Эдуарда или Георга. Да какие там две капли – самая настоящая одна-единственная капля, только король – на марке, а царь – на монете. Владимир Фёдорович улыбался, пытаясь перевести разговор на марки, посвящённые Папанинской экспедиции, но Клару, как и Марию, отвлечь от красной линии было невозможно.

– Владимир Фёдорович, вы только послушайте, – говорила Клара, перебивая и его, и всех на свете. – У них же борода одинаковая! То есть бороды. И усы, – ну, всё одинаковое, всё! Ну, скажите, как это может быть?

– Почему тебя так заинтересовали их бороды? – улыбнулся Владимир Фёдорович, весело глядя на прохожих и гордясь тем, какая у него эрудированная и наблюдательная дочь.

– Здравствуй, Володя! Здравствуй, Кларочка! – подошёл к ним Зиновий. – О чём так оживлённо беседуете?

– Папка, ты представляешь, наши цари – наш и английский – это, наверно, один и тот же человек! – сообщила Клара главную, сногсшибательную новость.

Зиновий поцеловал её в обе щёчки с ямочками и пожал руку Владимиру Фёдоровичу.

– Ну, что за ребёнок, – закуривая папиросу из красивой, диковинной, деревянной коробочки, улыбнулся Владимир Фёдорович. – Какие же они наши? Нашего Николашку, ну его к аллаху, давно, так сказать, свергли.

– У них там, – добавил Зиновий, угощаясь из красивой коробочки Владимира Фёдоровича, – не царь, а совсем даже король. Как ваши дела, Володя, что новенького?

– Вот идём в зоопарк, Зиновий, – сказал Владимир Фёдорович. Мария работает, а я сегодня взял отгул. Хотели ещё вчера сходить, но погода помешала.

– А я, – рассмеялся Зиновий, – погоду любую люблю. Какая бы ни была – лишь бы была, хоть какая-нибудь.

– Я с вами полностью согласен, Зиновий, – кивнул Владимир Фёдорович. – Но всё-таки в зоопарк лучше посуху идти, чем по лужам шлёпать.

– Так-то оно так, – вздохнул или затыкнулся Зиновий, Клара не разобрала. – Но мы-то с вами знаем: придёт время, когда уже не будет совсем никакой погоды...

Он снова рассмеялся и добавил:

– Так что пусть уж будет, какая угодно!

Владимир Фёдорович снова кивнул. Зиновий пожал ему руку, поцеловал Клару.

– Папка, ну ты пойми, – попробовала Клара убедить его то ли понять, то ли не спешить, – какой же он король, если вылитый царь?

Зиновий прижал её к себе и, подмигнув Владимиру Фёдоровичу, решил задачу по-Соломоновски:

– Любой король, зайныка, в душе царь, а любой царь мнит себя королём. А вот ты у нас – лучше любой царевны и королевны. Правда, Володя?

– Конечно! – подтвердил Владимир Фёдорович. – Иногда немножко непослушная, но это царевнам и королевнам полагается по штату.

Зиновий улыбнулся, помахал им рукой и пошёл в противоположную от них сторону, наверно, к себе на Маяковскую.

IX

Клара с Владимиром Фёдоровичем уже подходили к воротам зоопарка, и тут увидели крохотную собачку, показавшуюся Кларе заводной мышью, похожей на крохотную собачку. Мышь вела за собой на поводке даму в теле, гордую и грандиозную, как дом Саламандры на Сумской, или даже как целый Госпром. Мышь разнюхивала что-то на асфальте и вынюхивала в близлежащей траве. Клара забыла о необъяснённом сходстве двух королей, то есть короля и царя, и принялась прикидывать, удастся ли мыши утащить даму в кусты, но тут случилось непредвиденное.

С мышью и дамой поравнялась другая пара – чёрная громила без намордника («немецкая овчарка», – пояснил, наклонившись к Кларе, Владимир Фёдорович), ведущая на кожаной вожже даму интеллектуального вида и невзрачного цвета, как немецкая церковь на Пушкинской. Фигура дамы напомнила Кларе поставленную стоймя оглоблю. Они втроём – громила, вожжа и оглобля – смотрелись как неразделимое целое.

– Чудище обло, огромно, озорно... – процитировала Клара.

Вообще-то, чем больше Кларе встречалось в жизни собак, тем явственнее убеждалась она в их неотделимости от хозяев, хотя утверждение о сходстве хозяина с собакой не подтверждалось, она специально сравнивала. Вот король – снова вспомнила она – тот действительно похож на царя, а чем же мышь с громилой похожи на своих старших подруг? Клара призадумалась.

И ту как раз мышь, увидев приближающуюся немецкую громилу, открыла свою микроскопическую пасточку (то же мне, пасть называется) и взвизгнула, а потом завизжала – с таким остервенелым вдохновением, что у Клары от ужаса вспотела рука, за которую её держал Владимир Фёдорович. Мышь подпрыгивала на поводке, взвивалась в воздух, напрыгивая на громилу и доставая при этом до мощной щиколотки пытавшейся сдержать её дамы. «Если бы, – подумала Клара, – на мыши была холщовая рубаха, она бы отважно разорвала её на груди». Впрочем, груди как таковой тоже в принципе не было, как и пасти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.